

ЗЕМНЫЕ АНГЕЛЫ

Повести и рассказы
о русских архиереях



Лев Толстой
Земные ангелы (сборник)

Православное издательство "Сатись"

2002

Толстой Л. Н.

Земные ангелы (сборник) / Л. Н. Толстой — Православное
издательство "Сатись", 2002

ISBN 5-7373-1186-2

В книгу вошли повести и рассказы о русских архиереях русских писателей, известных и не очень. Время жизни и трудов героев книги пришлись на конец XIX – конец XX столетий. Места, где происходят описываемые события – епархии Российской империи, блокадный Ленинград, Лондон. При столь различных временах, местах и условиях служения их объединяют черты, характерные для лучших представителей русского епископата: искренняя вера и преданность Господу, забота о своей пастве и простота, доступность и нестяжательство.

ISBN 5-7373-1186-2

© Толстой Л. Н., 2002
© Православное издательство
"Сатись", 2002

Содержание

Повести	6
Николай Лесков	6
Глава первая	6
Глава вторая	9
Глава третья	11
Глава четвертая	15
Глава пятая	17
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Земные ангелы (сборник)
Повести и рассказы о русских архиереях

© Издательство «Сатисъ», 2002

Повести



Николай Лесков На краю света



Глава первая

Ранним вечером, на святках, мы сидели за чайным столом в большой голубой гостиной архиерейского дома. Нас было семь человек, восьмой наш хозяин, тогда уже весьма престарелый архиепископ, больной и немощный. Гости были люди просвещенные, и между ними шел интересный разговор о нашей вере и о нашем неверии, о нашем проповедничестве в храмах и о просветительных трудах наших миссий на Востоке. В числе собеседников находился некто флота капитан Б., очень добрый человек, но большой нападчик на русское духовенство. Он твердил, что наши миссионеры совершенно неспособны к своему делу, и радовался, что пра-

вительство разрешило теперь трудиться на пользу Слова Божия чужеземным евангелическим пасторам. Б. выражал твердую уверенность, что эти проповедники будут у нас иметь огромный успех не среди одних евреев и докажут, как два и два – четыре, неспособность русского духовенства к миссионерской проповеди.

Наш почтенный хозяин в продолжение этого разговора хранил глубокое молчание: он сидел с покрытыми пледом ногами в своем глубоком вольтеровском кресле и, по-видимому, думал о чем-то другом; но когда Б. кончил, старый владыка вздохнул и проговорил:

– Мне кажется, господа, что вы господина капитана напрасно бы стали оспаривать; я думаю, что он прав: чужеземные миссионеры положительно должны иметь у нас большой успех.

– Я очень счастлив, владыко, что вы разделяете мое мнение, – отвечал капитан Б., и сделав вслед за сим несколько самых благопристойных и тонких комплиментов известной образованности ума и благородству характера архиерея, добавил:

– Ваше высокопреосвященство, разумеется, лучше меня знаете все недостатки русской церкви, где, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные и очень добрые, – я этого никак не стану оспаривать, но они едва ли понимают Христа. Их положение и прочее... заставляет их толковать все... слишком узко.

Архиерей посмотрел на него, улыбнулся и ответил:

– Да, господин капитан, скромность моя не оскорбится признать, что я, может быть, не хуже вас знаю все скорби церкви; но справедливость была бы оскорблена, если бы я решился признать вместе с вами, что в России Господа Христа понимают менее, чем в Тюбингене, Лондоне или Женеве.

– Об этом, владыко, еще можно спорить.

Архиерей снова улыбнулся и сказал:

– А вы, я вижу, охочи спорить. Что с вами делать! От спора мы воздержимся, а беседовать – давайте.

И с этим словом он взял со стола большой, богато украшенный резьбою из слоновой кости, альбом и, раскрыв его, сказал:

– Вот наш Господь! Зову вас посмотреть! Здесь я собрал много изображений Его лица. Вот Он сидит у кладезя с женой самаритянской – работа дивная; художник, надо думать, понимал и лицо, и момент.

– Да; мне тоже кажется, владыко, что это сделано с понятием, – отвечал Б.

– Однако нет ли здесь в Божественном лице излишней мягкости? не кажется ли вам, что ему уж слишком все равно, сколько эта женщина имела мужей и что нынешний муж – ей не муж?

Все молчали; архиерей это заметил и продолжал:

– Мне кажется, сюда немного строгого внимания было бы чертой нелишнею.

– Вы правы, может быть, владыко.

– Распространенная картина; мне доводилось ее часто видеть, по преимуществу у дам. Посмотрим далее. Опять великий мастер. Христа целует здесь Иуда. Как кажется вам здесь Господень лик? Какая сдержанность и доброта! Не правда ли? Прекрасное изображение!

– Прекрасный лик!

– Однако не слишком ли много здесь усилия сдерживаться? Смотрите: левая щека, мне кажется, дрожит, и на устах как бы гадливость.

– Конечно, это есть, владыко.

– О, да; да ведь Иуда ее уж, разумеется, и стоил; и раб, и льстец – он очень мог ее вызвать у всякого... только, впрочем, не у Христа, Который ничем не брезговал, а всех жалел. Ну, мы этого пропустим; он нас, кажется, не совсем удовлетворяет, хотя я знаю одного большого сановника, который мне говорил, что он удачнее этого изображения Христа представить себе

не может. вот вновь Христос, и тоже кисть великая писала – Тициан: перед Господом стоит коварный фарисей с динарием.

Смотрите-ка, какой лукавый старец, но Христос... Христос... Ох, я боюсь! смотрите: нет ли тут презрения на Его лице?

– Оно и быть могло, владыко!

– Могло, не спорю: старец гадок; но я, молясь, таким себе не мыслю Господа и думаю, что это неудобно. Не правда ли?

Мы отвечали согласием, находя, что представлять лицо Христа в таком выражении неудобно, особенно вознося к Нему молитвы.

– Совершенно с вами в этом согласен и даже припоминаю себе об этом спор мой некогда с одним дипломатом, которому этот Христос только и нравился; но, впрочем, что же?... момент дипломатический. Но пойдете далее: вот тут уже, с этих мест, у меня начинаются одинокие изображения Господа, без соседей. Вот вам снимок с прекрасной головы скульптора Кауера: хорош, хорош! – ни слова; но мне, воля ваша, эта академическая голова напоминает гораздо менее Христа, чем Платона. Вот Он, еще... какой страдалец... какой ужасный вид придал Ему Метсу!.. Не понимаю, зачем он Его так избил, иссек и искровянил?... Это, право, ужасно! Опухли веки, кровь и синяки... весь дух, кажется, из Него выбит, и на одно страдающее тело уж смотреть даже страшно... Перевернем скорей. Он тут внушает только сострадание, и ничего более. – Вот вам Лафон, может быть, и небольшой художник, да на многих нынче хорошо потрафил; он, как видите, понял Христа иначе, чем все предыдущие, и иначе Его себе и нам представил: фигура спокойная и привлекательная, лик добрый, голубиный взгляд под чистым лбом, и как легко волнуются здесь кудри: тут локоны, тут эти петушки, крутятся, легли на лоб. Красиво, право! а на руке Его пылает сердце, обвитое терновою лозою. Это «Sacre Coeur», 1 «Пресвятое сердце» (франц.); особый чувственно-сентиментальный религиозный культ. что отцы иезуиты проповедуют; мне кто-то сказывал, что они и вдохновляли сего господина Лафона чертить это изображение; но оно, впрочем, нравится и тем, которые думают, что у них нет ничего общего с отцами иезуитами. Помню, мне как-то раз, в лютый мороз, довелось заехать в Петербурге к одному русскому князю, который показывал мне чудеса своих палат, и вот там, не совсем на месте – в зимнем саду, я увидел впервые этого Христа. Картина в рамочке стояла на столе, перед которым сидела княгиня и мечтала. Прекрасная была обстановка: пальмы, аурумы, бананы, щебечут и порхают птички, и она мечтает. О чем? Она мне сказала: ищет Христа. Я тогда и всмотрелся в это изображение. Действительно, смотрите, как Он эффектно выходит, или, лучше сказать, износится, из этой тьмы; за Ним ничего: ни этих пророков, которые докучали всем, бегая в своих лохмотьях и цепляясь даже за царские колесницы, – ничего этого нет, а только тьма... тьма фантазии. Эта дама – пошли ей Бог здоровья – первая мне и объяснила тайну, как находить Христа, после чего я и не спорю с господином капитаном, что иностранные проповедники у нас не одним жидам Его покажут, а всем, кому хочется, чтобы Он пришел под пальмы и бананы слушать канареек. Только Он ли туда придет? Не пришел бы под Его след кто другой к ним? Признаюсь вам, я этому щеголеватому канареечному Христу охотно предпочел бы вот эту жидоватую главу Гверчино, хотя и она говорит мне только о добром и восторженном раввине, которого, по определению господина Ренана, можно было любить и с удовольствием слушать... И вот вам сколько пониманий и представлений о том, кто один все нам на потребу! Закроем теперь все это, и обернитесь к углу, к которому стоите спиною: опять лик Христов, и уже на сей раз это именно не лицо, – а лик. Типическое русское изображение Господа: взгляд прям и прост, темя возвышенное, что, как известно, и по системе Лафатера означает способность возвышенного богочтения; в лике есть выражение, но нет страстей. Как достигали такой прелести изображения наши старые мастера? Это осталось их тайной, которая и умерла вместе с ними и с их отверженным искусством. Просто – до невозможности желать простейшего в искусстве: черты чуть-чуть слегка означены, а

впечатление полно; мужиковат Он, правда, но при всем том ему подобает поклонение, и как кому угодно, а по-моему, наш простодушный мастер лучше всех понял – Кого ему надо было написать. Мужиковат Он, повторяю вам, и в зимний сад Его не позовут послушать канареек, да что беды! – где Он каким открылся, там таким и ходит, не имея где главы приклонить от Петербурга до Камчатки. Знать, Ему это нравится – принимать с нами поношения от тех, кто пьет Кровь Его и Ее же проливает. И вот, в эту же меру, в какую, по-моему, проще и удачнее наше народное искусство поняло внешние черты Христова изображения, и народный дух наш, может быть, ближе к истине постиг и внутренние черты Его характера. Не хотите ли, я вам расскажу некоторый, может быть не лишенный интереса, анекдот на этот случай.

– Ах, сделайте милость, владыко; мы все вас просим об этом!

– А, просите? – так и прекрасно: тогда и я вас прошу слушать и не перебивать, что я начну сказывать довольно издали.

Мы откашлялись, поправились на местах, чтобы не шевелиться, и архиерей начал.

Глава вторая

– Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лет назад: это будет относиться к тому времени, когда я еще, можно сказать, довольно молодым человеком был поставлен во епископы, в весьма отдаленную Сибирскую епархию. Я был от природы нрава пылкого и любил, чтобы у меня было много дела, а потому не только не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему назначению. Слава Богу, думал я, что мне хотя для начала-то выпало на долю не только ставленников стричь да пьяных дьячков разбирать, а настоящее живое дело, которым можно с любовью заняться. Я разумел именно то наше малоуспешное миссионерство, о котором господин капитан изволил вспомнить в начале нашей сегодняшней беседы. Ехал я к своему месту, пылая рвением и с планами самыми обширными, и сразу же было и всю свою энергию остудил и, что еще важнее, чуть-чуть было самого дела не перепортил, если бы мне не дан был спасительный урок в одном чудесном событии.

– Чудесное! – воскликнул кто-то из слушателей, позабыв условие не перебивать рассказа; но наш снисходительный хозяин за это не рассердился и отвечал:

– Да, господа, обмолвясь словом, могу его не брать назад: в том, что со мною случилось и о чем начал вам рассказывать, – не без чудес, и чудеса эти начали мне являться чуть не с самого первого дня моего прибытия в мою полудикуую епархию. Первое дело, с которого начинается свою деятельность русский архиерей, куда бы он ни попал, конечно есть обозрение внешности храмов и богослужения, – к этому обратился и я: велел, чтобы везде были приняты прочь с престолов лишние Евангелия и кресты, благодаря которым эти престолы у нас часто превращаются в какие-то выставки магазина церковной утвари. Заказал себе столько ковриков с орлецами, сколько нужно было, чтобы они лежали на своих местах, чтобы не шмыгали у меня с ними под носом, подбрасывая их под ноги. С усилием и под страхом штрафов воздерживал дьяконов не ловить меня во время служения за локти и не забираться рядом со мною на Горнее место, а наипаче всего не наделять тумачами и подзагравками бедных ставленников, у которых оттого, после приятия благодати Святого Духа, недели по две и загорбок, и шея болят. И никто из вас мне не поверит, сколько все это стоит труда и какие приносит досады, особенно человеку нетерпеливому, каким я тогда был и остаюсь таковым же, к моему стыду, отчасти и доселе. Окончилось с этим, – надо было приниматься за второе архиерейское дело первой важности: удостовериться, умеют ли приветчики читать хоть уж если не по писанному, то по крайней мере по печатному. Эти экзамены долго меня заняли и сильно досаждали мне, а порою и смешили. Безграмотный, или, по крайней мере «неписьменный», дьячок или пономарь и теперь еще, пожалуй, отыщется в селе или в уездном городишке и внутри России, что и оказалось, когда им, несколько лет тому назад, пришлось в первый раз расписываться в полу-

чении жалованья. Но тогда, – во время оно, да еще в Сибири, – это было явление самое обыкновенное. Я их велел учить; они на меня, разумеется, плакались и прозвали меня «лютым»; приходы жаловались, что нет чтецов, что архиерей «церкви разоряет». Что тут делать! я стал отпускать на места таких дьячков, которые хоть на память читать умели, и – о Боже! – что за людей я видел! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже... какие-то одержимые. Один вместо «приидите, поклонимся Цареву нашему Богу», закрыв глаза, как перепел, колотил: «Плитимбоу, плитимбоу» – и заливался этим так, что удержать его было невозможно. Другой – уж это именно был одержимый, – он так искусился в скорохвате, что с каким-нибудь известным словом у него являлась своя ассоциация идей, которой он никак не мог не подчиняться. Такое слово для него было, например, «на небеси». Начнет читать: «Иже на всякое время, на всякий час на небеси...» и вдруг у него что-то в голове защелкнет, и он продолжает: «да святится Имя Твое, да приидет Царствие». Что я с этим тираном ни мучился, все было тщетно! Велел ему по книге читать, – читает: «Иже на всякое время, на всякий час на небеси», но вдруг закрыл книгу и пошел: «Да святится Имя Твое», и залопотал до конца, и возглашает: «От лукавого». Только тут и остановиться мог: оказалось, что он не умеет читать. За грамотностью дьячков очередь переходит к благонравию семинаристов, и опять начинаются чудеса. Семинария была до того распущена, воспитанники пьянствовали и до того бесчинствовали, что, например, один философ при инспекторе, кончая вечерние молитвы, прочел: «Упование мое – Отец, прибежище мое – Сын, покров мой – Дух Святой: Троица Святая, – мое Вам почтение»; а в богословском классе другая история: один после обеда благодарит, «яко насытил земных благ», и просит не лишиться и «Небесного Царствия», а ему из толпы кричат: «Свинья! Нажрался, да еще в Царство Небесное просишься».

Надо было подыскать как можно скорее инспектора, подходящего под мой дух, – тоже лютого; при большой спешности и небольшом выборе попался такой: лютости в нем оказалось довольно, но уже зато ничего другого не спрашивай.

– Я, – говорит, – ваше преосвященство, приму все это по-военному, чтобы сразу...

– Хорошо, – отвечаю, – примись по-военному...

Он и принялся и с того начал, что молитвы распорядился не читать, но петь хором, дабы устранить всякие шалости, и то петь по его команде. Взойдет он при полном молчании и, пока не скомандует, все безмолвствуют; скомандует: «Молитву!» – и запоют. Но этот уже очень «по-военному» устави́л; скомандует: «Молит-в-у-у!» Семинаристы только запоют: «Очи всех, Господи, на Тя упов...» – он на половине слова кричит: «Ст-о-ой!» – и подзывает одного:

– Фролов, поди сюда!

Тот подходит.

– Ты Багреев?

– Нет-с, я Фролов.

– А-а, ты Фролов?! Отчего же это я думал, что ты Багреев?

Опять хохот, и опять ко мне жалобы. Нет, вижу – не годится этот с военными приемами, и нашел кое-как цивилиста, который был хотя не столь лют, но благоразумнее действовал: перед учениками притворялся самым слабым добряком, а мне все ябедничал и повсюду рассказывал ужасы о моем зверстве. Я это знал и, видя, что эта мера оказывается действительно, не претил его системе.

Насилу этих своею «люто́стию» в повиновение привел, в зрелом возрасте чудеса пошли: доносят мне, что в соборного протоиерея воз сена в середину въехал и не может выехать. Посылают узнавать; говорят: действительно так. Протопоп был тучный; после обедни крестил в купеческом доме и вдоволь облепихою угостился, а что от этой облепихи, что от другой тамошней ягоды, дикуши, хмель самый тяжелый и глупый. То и с этим случилось: пришел домой, часа четыре заснул, встал и, выпив жбан квасу, лег грудью на окно, чтобы поговорить с кем-то, кто внизу стоял, и вдруг... воз с сеном в него въехал. Ведь все это глупое такое, что даже

противно делается, а разделяется, так, пожалуй, что даже противней станет. На другой день келейник подает мне сапоги и докладывает, что «слава Богу, говорит, из отца протопопа воз сеном уже выехал».

– Очень рад, – говорю, – таковой радости; но подай-ка мне эту историю обстоятельно.

Оказывается, что протопоп, имевший двухэтажный дом, лег на окно, под которым были ворота, и в них в эту минуту въехал воз с сеном, причем ему, от облепихи и от сна до одури, показалось, что это в него въехало. Невероятно, но, однако, так было: *credo, quia absurdum*.
1 Верю, потому что нелепо (лат.).

Как же сего дивотворного мужа спасли?

А тоже дивотворно: встать он ни за что не соглашался, потому что в нем воз сидит; лекарь не находил лекарства против сего недуга. Тогда шаманку призвали; та повертелась, постучала и велела на дворе воз сена наложить и назад выехать; больной принял, что это из него выехало, и исцелил.

Ну, после этого делайте с ним что хотите, а он свое уже сделал: и людей насмешил, и шаманку призвал идольскими чарами его пользоваться; а такие вещи там не в мешочке лежат, а по дорожке бежат. «Что-де попы, – они ничего не значат и сами наших шаманов зовут шайтана отгонять». И идут себе да идут этакие глупости. Долго я приправлял, как мог, сии дымящие лампы, и приходская часть мне через них невыносимо докучила; но зато настал давно желанный и вожделенный миг, когда я мог всего себя посвятить трудам по просвещению диких овец моей паствы, пасущихся без пастыря.

Забрал я себе все касающиеся этой части бумаги и присел на них вплотную, так что и от стола не отхожу.

Глава третья

Ознакомясь с миссионерскими отчетностями, я остался всею деятельностью недоволен более, чем деятельностью моего приходского духовенства: обращений в христианство было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая доля этих обращений значилась только на бумаге. На самом же деле одни из крещеных снова возвращались в свою прежнюю веру – ламайскую или шаманскую; а другие делали из всех этих вер самое странное и нелепое смешение: они молились и Христу с Его апостолами, и Будде с его буддисидами да тенгернами, и войлочным сумочкам с шаманскими ангонами. Двоеверие держалось не у одних кочевников, а почти и повсеместно в моей пастве, которая не представляла отдельной ветви какой-нибудь одной народности, а какие-то щепы и осколки Бог весть когда и откуда сюда попавших племенных разновидностей, бедных по языку и еще более бедных по понятиям и фантазии. Видя, что все, касающееся миссионерства, находится здесь в таком хаосе, я возымел об этих моих сотрудниках мнение самое невыгодное и обошелся с ними нетерпеливо сурово. Вообще я стал очень раздражителен, и данное мне прозвище «лютого» начало мне приличествовать. Особенно испытал на себе печать моего гневливого нетерпения бедный монастырек, который я избрал для своего жительства и при котором желал основать школу для местных инородцев. Расспросив чернецов, я узнал, что в городе почти все говорят по-якутски, но из моих иноков изо всех по-инородчески говорит только один очень престарелый иеромонах, отец Кириак, да и тот к делу проповеди не годится, а если и годится, то, хоть его убей, не хочет идти к диким проповедовать.

– Что это, – спрашиваю, – за ослушник, и как он смеет? Сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю.

Но экклезиарх мне отвечает, что слова мои передаст, но послушания от Кириака не ожидает, потому что это уже ему не первое: что и два мои быстро друг за другом сменившиеся предместника с ним строгость пробовали, но он уперся и одно отвечает: «Душу за моего Хри-

ста положить рад, а крестить там (то есть в пустыне) не стану». Даже, говорит, сам просил лучше сана его лишиться, но туда не посылать. И от священнодействия много лет был за это ослушание запрещен, но нимало тем не тяготился, а, напротив, с радостью нес самую простую службу: то сторожем, то в звонарне. И всеми любим: и братией, и мирянами, и даже язычниками.

– Как? – удивляюсь. – Неужто даже и язычниками?

– Да, владыко, и язычники к нему иные заходят.

– За каким же делом?

– Уважают его как-то истари, когда еще он на проповедь ездил в прежнее время.

– Да каков он был в то, в прежнее-то время?

– Прежде самый успешный миссионер был и множество людей обращал.

– Что же ему такое сделалось? Отчего он бросил эту деятельность?

– Понять нельзя, владыко; вдруг ему что-то приключилось: вернулся из степей, принес в алтарь мирницу и дароносицу и говорит: «Ставлю и не возьму опять, доколе не придет час».

– Какой же ему нужен час? что он под сим разумеет?

– Не знаю, владыко.

– Да неужто же вы у него никто этого не добивались? О, роде лукавый, доколе живу с вами и терплю вас? Как вас это ничто, дела касающееся, не интересует? Попомните себе, что если тех, кои ни горячи, ни холодны, Господь обещал изблевать с уст Своих, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?

Но мой еkkлезиарх оправдывается.

– Всячески, – говорит, владыко, мы у него любопытствовали, но он одно отвечает: «Нет, говорит, детушки, это дело не шутка, – это страшное... я на это смотреть не могу».

А что такое страшное, на это еkkлезиарх не мог мне ничего обстоятельного ответить, а сказал только, что «полагаем-де так, что отцу Кириаку при проповеди какое-либо откровение было». Меня это рассердило. Признаюсь вам, я недолюбливаю этот ассортимент «слывущих», которых вживе чудеса творят и непосредственными откровениями хвалятся, и причины имею их недолюбливать. А потому я сейчас же потребовал этого строптивного Кириака к себе и, не довольствуясь тем, что уже достаточно слыл грозным и лютым, взял да еще принасутился: был готов опалить его гневом, как только покажется. Но пришел к моим очам монашек такой маленький, такой тихий, что не на кого и взоров метать: одет в облянялой коленкоровой ряске, клубок толстым сукном покрыт, собой черненький, востролиценький, а входит бодро, без всякого подобострастия, и первый меня приветствует:

– Здравствуй, владыко!

Я не отвечаю на его приветствие, а начинаю сурово:

– Ты что это здесь чудишь, приятель?

– Как, – говорит, – владыко? Прости, будь милостив: я маленько на ухо туг – не все дослышал.

Я еще громче повторил:

– Теперь, мол, понял?

– Нет, – отвечает, – ничего не понял.

– А почему ты с проповедью идти не хочешь и крестить инородцев избегаешь?

– Я, – говорит, – владыко, ездил и крестил, пока опыта не имел.

– Да, мол; а опыт получивши, и перестал?

– Перестал.

– Что же сему за причина?

Вздыхнул и отвечает:

– В сердце моем сия причина, владыко, и Сердцеведец ее видит, что велика она и мне, немощному, непосильна... Не могу!

И с сим в ноги мне поклонился.

Я его поднял и говорю:

– Ты мне не кланяйся, а объясни: что ты, откровение, что ли, какое получил или с Самим Богом беседовал?

Он с кроткою укоризною отвечает:

– Не смейся, владыко, я не Моисей, Божий избранник, чтобы мне с Богом беседовать; тебе грех так думать.

Я устыдился своего пыла, и смягчился, и говорю ему:

– Так что же? За чем дело?

– А за тем, владыко, и дело, – отвечает, – что я не Моисей, что я, владыко, робок и свою силу-меру знаю: из Египта-то языческого я выведу – выведу, а Чермного моря не рассеку и из степи не выведу, и воздвигну простые сердца на ропот к преобиде Духа Святого.

Видя этакую образованность в его живой речи, я было заключил, что он, вероятно, сам из раскольников, и спрашиваю:

– Да ты сам-то каким чудом в единение с церковью приведен?

– Я, – отвечает, – в единении с нею с моего младенчества и пребуду в нем даже до гроба.

И рассказал мне препростое и престранное свое происхождение. Отец у него был поп, рано овдовел; повенчал какую-то незаконную свадьбу и был лишен места, да так, что всю жизнь потом не мог себе его нигде отыскать, а состоял при некоей пожилой важной даме, которая всю жизнь с места на место ездила и, боясь умереть без покаяния, для этого случая сего попа при себе возила. Едет она – он на передней лавочке с нею в карете сидит; а она в дом войдет – он в передней с лакеями ее ожидает. И можете себе вообразить человека, у которого этакая была вся жизнь! А между тем он, не имея уже своего алтаря, питался буквально от своей Дароносицы, которая с ним за пазухою путешествовала, и на сынишку он у этой дамы какие-то крохи вымаливал, чтобы в училище его содержать. Так они и в Сибирь попали: барыня сюда поехала дочь навестить, которая была тут за губернатором замужем, и попа с Дароносицей на передней лавочке привезла. Но как путь был далекий, да к тому же еще барыня тут долго оставаться собиралась, то попик, любя сынишку, не соглашался без него ехать. Барыня подумала-подумала – и, видя, что ей родительских чувств не переупрямить, согласилась и взяла с собою и мальчишку. Так он сзади за каретою переехал из Европы в Азию, имея при сем путевым долгом охранять своим присутствием привязанный на запятках чемодан, на котором и самого его привязали, дабы сонный не свалился. Тут и его барыня и его отец умерли, а он остался, за бедностию курса не кончил, в солдаты попал, этап водил. Имея меткий глаз, по приказанию начальства, не целясь, вдогон за каким-то беглым пулю пустил и без желанья, на свое горе, убил того, и стой поры он все страдал, все мучился и, сделавшись негодным к службе, в монахи пошел, где его отличное поведение было замечено, а знание инородческого языка и его религиозность побудили склонить его к миссионерству.

Выслушал я эту простую, но трогательную повесть старика, и стало мне его до жуткости жалко, и чтобы переменить с ним тон, я ему говорю:

– Так, стало быть, это, что подозревают, будто ты чудеса какие-нибудь видел, это неправда?

Но он отвечает:

– Отчего же, владыко, неправда?

– Как?... так ты видел чудеса?

– Кто же, владыко, чудес не видел?

– Однако?

– Что однако? Куда ни глянь – все чудо: вода ходит в облаке, воздух землю держит, как перышко; вот мы с тобою прах и пепел, а движемся, и мыслим, и то мне чудесно; а умрем, и

прах рассыпется, а дух пойдет к Тому, Кто его в нас заключил. И то мне чудно: как он наг безо всего пойдет? Кто ему крыла даст, яко голубице, да полетит и почитет?

– Ну, это-то, мол, мы оставим другим рассуждать, а ты скажи мне, не виляя умом: не было ли с тобою в жизни каких-либо необычайных явлений или чего иного в сем роде?

– Было отчасти и это.

– Что же такое?

– Очень, – говорит, – владыко, с детства я был взыскан Божиею милостию и недостойно получал дважды чудесные заступления.

– Гм? Рассказывай.

– Первый раз это было, владыко, в сущем младенчестве. В третьем классе я был еще, и очень мне в поле гулять идти хотелось. Мы, трое мальчишек, пошли у смотрителя рекреацию просить, да не выпросили и решились солгать, а зачинщик всему тому я был. «Давай, – говорю, ребята, всех обманем, побежим и закричим: отпустил, отпустил!» Так и сделали; все с нашего слова и разбежались из классов и пошли гулять и купаться да рыбчонку ловить. А к вечеру на меня страх и напал: что мне будет, как домой вернемся? – запрет смотритель. Прихожу и гляжу – уже и розги в лохани стоят; я скорее драла, да в баню, спрятался под полоч, да и ну молиться: «Господи! Хоть нельзя, чтобы меня не пороть, но сделай, чтобы не пороли!» И так усердно об этом в жару веры молился, что даже запотел и обессилел; но тут вдруг на меня чудной прохладой тихой повеяло, и у сердца как голубок тепленький зашевелился, и стал я верить в невозможность спасения как в возможное, и покой ощутил и такую отвагу, что вот не боюсь ничего, да и кончено! И взял да и спать лег: а просыпаюсь, слышу, товарищи-ребятишки весело кричат: «Кирюшка! Кирюшка! Где ты? Вылезай скорей, – тебя пороть не будут, ревизор приехал и нас гулять отпустил».

– Чудо, – говорю, – твое простое.

– Просто и есть, владыко, как Сама Троица во Единице – Простое Существо, – отвечал он и с неописанным блаженством во взоре добавил: – Да ведь как я, владыко, Его чувствовал! Как пришел-то Он, батюшка мой, отрадненький! Удивил и обрадовал. Сам суди: всей Вселенной Он не в обхват, а, видя ребячью скорбь, под банный полочек к мальчонке подполз в душе хлада тонка и за пазушкой обитал...

Я вам должен признаться, что я более всяких представлений о Божестве люблю этого нашего русского Бога, Который творит Себе обитель «за пазушкой». Тут, что нам господа греки ни толкуй и как ни доказывай, что мы им обязаны тем, что и Бога через них знаем, – а не они нам Его открыли; не в их пышном византийстве мы обрели Его в дыме каждений, а Он у нас свой, притоманный, и по-нашему, попросту, всюду ходит, и под банный полочек без ладана в душе хлада проникает, и за теплой пазухой голубком приборкается.

– Продолжай, – говорю, – отец Кириак, – о другом чуде рассказа жду.

– Сейчас и про другое, владыко. Это было, как я стал уже дальше от Него, помалочнее, – это было, как я сюда за каретою ехал. Взять меня надо было из российского училища и сюда перевести перед самым экзаменом. Я не боялся, потому что первым учеником был и меня бы без экзамена в семинарию приняли; а смотритель возьми да и напиши мне свидетельство во всем посредственное. «Это, – говорит, – нарочно, для нашей славы, чтобы тебя там экзаменовали стали и увидали, каковых мы за посредственных считаем». Горе было нам с отцом ужасное; а к тому же, хотя отец меня и заставлял, чтобы я дорогою, на запятках сидя, учился, но я раз заснул и, через речку вброд переезжая, все книжки свои потерял. Сам горько плачучи, отец престоко меня за это на постоялом дворе выпорол; а все-таки, пока мы до Сибири доехали, я все позабыл и начинаю опять по-ребячьи молиться: «Господи, помоги! Сделай, чтобы меня без экзамена приняли». Нет; как его ни просил, посмотрели на мое свидетельство и велели на экзамен идти. Прихожу печальный; все ребята веселые и в чехарду друг через дружку прыгают, – один я такой, да еще другой, тощий-претощий, мальчишка сидит, не учится – так, от

слабости, говорит: «Лихорадка забила». А я сижу, гляжу в книгу и начинаю в уме перекоряться с Господом: «Ну что же? Думаю, ведь уж как я Тебя просил, а Ты вот ничего и не сделал!» И с этим встал, чтобы пойти воды напиться, а меня как что-то по самой середине камеры хлоп по затылку и на пол бросило... Я подумал: «Это, верно, за наказание! Помочь-то Бог мне ничего не помог, а вот еще и ударил». Ан, смотрю, нет: это просто тот больной мальчик через меня прыгнуть вздумал, да не осилил, и сам упал и меня сбил. А другие мне говорят: «Гляди-ка, чужак, у тебя рука-то мотается». Попробовал, а рука сломана. Повели меня в больницу и положили, а отец туда пришел и говорит: «Не тужи, Кирюшка, тебя зато теперь без экзамена приняли». Тут я и понял, как Бог-то все устроил, и плакать стал... А экзамен-то легкий-прелегкий был, так что я его шутя бы и выдержал. Значит, не знал я, дурачок, чего просил, но и то исполнено, да еще с вразумлением.

– Ах ты, – говорю, – отец Кириака, отец Кириака, да ты человек преутешительный!.. – Расцеловал я его неоднократно, отпустил и, ни о чем более не расспрашивая, велел ему с завтрашнего же дня ходить ко мне учить меня тунгузскому и якутскому языку.

Глава четвертая

Но отступив со своею суровостью от Кириака, я зато напустился на прочих монахов своего монастырька, от коих, по правде сказать, не видал ни Кириакова простодушия и никакого дела на службу веры полезного: живут себе таким, так сказать, форпостом христианства в краю язычников, а ничего, ленивцы, не делают – даже языку туземному ни один не озаботился научиться.

Щунял я их, щунял келейно и, наконец, с амвона на них громыхнул словом царя Ивана к преподобному Гурию, что «напрасно-де именуют чернецов ангелами, – нет им с ангелами сравнения, ни какого-либо подобия, а должны они уподобляться апостолам, которых Христос послал учить и крестить!»

Кириак приходит ко мне на другой день урок давать и прямо мне в ноги:

– Что ты? Что ты? – говорю, подымая его. – Учителю благий, тебе это не довлеет ученику в ноги кланяться.

– Нет, владыко, уж очень ты меня утешил, так утешил, что я и в жизнь не чаял такого утешения!

– Да чем, – говорю, Божий человек, ты так мною обрадован?

– А что велишь монахам учиться, да идучи вперед учить, а потом крестить; ты прав, владыко, что такой порядок устроил, его и Христос велел, и приточник поучает: «... идеже несть учения души, несть добра». Крестить-то они все могучи, а обучить слову нетяги.

– Ну, уж это, – говорю, – ты меня, брат, кажется, шире понял, чем я говорил; этак ведь, по-твоему, и детей бы не надо крестить.

– Дети христианские другое дело, владыко.

– Ну да; и предков бы наших князь Владимир не окрестил, если бы долго от них наученности ждал.

А он мне отвечает:

– Эх, владыко, да ведь и впрямь бы их, может, прежде поучить лучше было. А то сам, чай, в летописи читал – все больно скоро варом вскипело, «понеже благочестие его со страхом бе сопряженно». Платон митрополит мудро сказал: «Владимир поспешил, а греки слукавили, – невежд ненаученных окрестили». Что нам их спешке с лукавством следовать? Ведь они, знаешь, «льстивы даже до сего дня». Итак, во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облакаемся. Тщетно это так крестить, владыко!

– Как, – говорю, – тщетно? Отец Кириак, что ты это, батюшка, проповедуешь?

– А что же, – отвечает, владыко? Ведь это благочестивой тростью писано, что одно водное крещение невежде к приобретению жизни вечной не служит.

Посмотрел я на него и говорю серьезно?

– Послушай, отец Кириак, ведь ты еретичествоешь.

– Нет, – отвечает, – во мне нет ереси, я по тайноводству святого Кирилла Иерусалимского правоверно говорю: «Симон Волхв в купели тело омочи водою, но сердце не просвети духом, и сниде, и изыде телом, а душою не спогребеся, и не возста». Что окрестился, что выкупался, все равно христианином не было. Жив Господь и жива душа твоя, владыко, – вспомни, разве не писано: и будут и крещеные, которые услышат «не вем вас», и некрещеные, которые от дел совести оправдятся и внидут, яко хранившие правду и истину. Неужели же ты сие отмечаешь?

Ну, думаю, подождем об этом беседовать, и говорю:

– Давай-ка, – говорю, – брат, не иерусалимскому, а дикарскому языку учиться, бери указку, да не больно сердись, если я не толков буду.

– Я не сердит, владыко, – отвечает.

И точно, удивительно был благодушный и откровенный старик и прекрасно учил меня. Толково и быстро открыл мне таинства, как постичь эту молвь, такую бедную и немногословную, что ее едва ли можно и языком назвать. Во всяком разе это не более как язык жизни животной, а не жизни умственной; а между тем усвоить его очень трудно: обороты речи, краткие и непериодические, делают крайне затруднительным переводы на эту молвь всякого текста, изложенного по правилам языка выработанного, со сложными периодами и подчиненными предложениями; а выражения поэтические и фигуральные на него вовсе не переводимы, да и понятия, ими выражаемые, остались бы для этого бедного люда недоступны. Как рассказать им смысл слов: «Будьте хитры, как змеи, и незлобивы, как голуби», когда они и ни змеи, и ни голубя никогда не видали и даже представить себе не могут. Нельзя им подобрать слов: ни мученик, ни Креститель, ни Предтеча, а Пресвятую Деву если перевести по-ихнему словами шочмо Абя, то выйдет не наша Богородица, а какое-то шаманское божество женского пола, – короче сказать – богиня. Про заслуги же Святой Крови или про другие тайны веры еще труднее говорить, а строить им какую-нибудь богословскую систему или просто слово молвить о рождении без мужа, от девы, – и думать нечего: они или ничего не поймут, и это самое лучшее, а то, пожалуй, еще прямо в глаза расхохочутся.

Все это мне передал Кириак, и передал так превосходно, что я, узнав дух языка, постиг и весь дух этого бедного народа; и что всего мне было самому над собою забавнее, что Кириак с меня самым незаметным образом всю мою напускную суровость сбил: между нами установились отношения самые приятные, легкие и такие шуточные, что я, держась сего шуточного тона, при конце своих уроков велел горшок каши сварить, положил на него серебряный рубль денег да черного сукна на рясу и понес все это, как выученик, к Кириаку в келью.

Он жил под колокольнею в такой маленькой келье, что как я вошел туда, так двоим и повернуться негде, а своды прямо на темя давят; но все тут опрятно, и даже на полутемном окне с решеткою в разбитом варистом горшке астра цветет.

Кириака я застал за делом – он низал что-то из рыбьей чешуи и нашивал на холстик.

– Что ты это, – говорю, – стряпаешь?

– Уборчики, владыко.

– Какие уборчики?

– А вот девчонкам маленьким дикарские уборчики: они на ярмарку приезжают, я им и дарю.

– Это ты язычниц неверных радуешь?

– И-и, владыко! Полно-ка тебе все так: «неверные» да «неверные»; всех Один Господь создал; жалеть их, слепых, надо.

– Просвещать, отец Кириак.

– Просветить, – говорит, – хорошо это, владыко, просветить. Просвети, просвети, – и зашептал: «Да просветится свет твой пред человеки, когда увидят добрыя твои дела».

– А я вот, – говорю, – к тебе с поклоном пришел и за выучку горшок каши принес.

– Ну что же, хорошо, – говорит, – садись же и сам при горшке посиди – гость будешь.

Усадил он меня на обрубочек, сам сел на другой, а кашу мою на скамью поставил и говорит:

– Ну, покушай у меня, владыко; твоим же добром да тебе же челом.

Стали мы есть со стариком кашу и разговорились.

Глава пятая

Меня, по правде сказать, очень занимало, что такое отклонило Кириака от его успешной миссионерской деятельности и заставила так странно, по тогдашнему моему взгляду – почти преступно или во всяком случае соблазнительно относиться к этому делу.

– О чем, – говорю, станем беседовать? – к доброму привету хороша и беседа добрая. Скажи же мне: не знаешь ли ты, как нам научить вере вот этих инородцев, которых ты все под свою защиту берешь?

– А учить надо, владыко, учить, да от доброго жития пример им показать.

– Да где же мы с тобою их будем учить?

– Не знаю, владыко; к ним бы надо с научением идти.

– То-то и есть.

– Да, учить надо, владыко; и утром сеять семя, и вечером не давать отдыха руке, – все сеять.

– Хорошо, говоришь, отчего же ты так не делаешь?

– Освободи, владыко, не спрашивай.

– Нет уж, расскажи.

– А требуешь рассказать, так поясни: зачем мне туда идти?

– Учить и крестить.

– Учить? Учить-то, владыко, неспособно.

– Отчего? Враг, что ли, не дает?

– Не-ет! что враг, – велика ли он для крещеного человека особа: его одним пальчиком перекрести, он и сгинет; а вражки мешают, – вот беда!

– Что это за вражки?

– А вот куцые одетели, отцы благодетели, приказные, чиновные, с приписью подьячие.

– Эти, стало быть, самого врага сильней?

– Как же можно: сей род, знаешь, ничем не изымается, даже ни молитвою, ни постом.

– Ну, так надо, значит, просто крестить, как все крестьян.

– Крестить... – проговорил за мною Кириак, и вдруг замолчал и улыбнулся.

– Что же? Продолжай.

Улыбка сошла с губ Кириака, и он с серьезною и даже суровою миной добавил:

– Нет, я скорохватом не хочу это делать, владыко.

– Что-о-о!

– Я не хочу этого так делать, владыко, вот что! – отвечал он твердо и опять улыбнулся.

– Чего ты смеешься? – говорю. – А если я тебе велю крестить?

– Не послушаю, – отвечал он, добродушно улыбувшись и, фамильярно хлопнув меня рукою по колену, заговорил:

– Слушай, владыко, читал ты или нет, – есть в житиях одна славная повесть.

Но я его перебил и говорю:

– Поосвободи, пожалуйста, меня с житиями: здесь о Слове Божиим, а не о преданиях человеческих. Вы, чернецы, знаете, что в житиях можно и того, и другого достать, и потому и любите всё из житий хватать.

А он отвечает:

– Дай же мне, владыко, кончить; может, я и из житий что-нибудь прикладно скажу.

И рассказал старую историю из первых христианских веков о двух друзьях – христианине и язычнике, из коих первый часто говорил последнему о христианстве и так ему этим надокучил, что тот, будучи до тех пор равнодушен, вдруг стал ругаться и изрыгать самые злые хулы на Христа и на христианство, а при этом его подхватил конь и убил. Друг христианин видел в этом чудо и был в ужасе, что друг его язычник оставил жизнь в таком враждебном ко Христу настроении. Христианин сокрушался об этом и горько плакал, говоря: «Лучше бы я ему совсем ничего о Христе не говорил, – он бы тогда на него не раздражался и ответа бы в том не дал». Но, к утешению его, он известился духовно, что друг его принят Христом, потому что, когда язычнику никто не докучал назойливостью, то он сам с собою размышлял о Христе и призвал Его в своем последнем вздохе.

– А Тот, – говорит, – тут и был у его сердца: сейчас и обнял, и обитель дал.

– Это опять, значит, все дело свертелось «за пазушкой»?

– Да, за пазушкой.

– Вот это-то, – говорю, – твоя беда, отец Кириак, что ты все на пазуху-то уже очень располагаешься.

– Ах, владыко, да как же на нее не полагаться: тайны-то уже там очень большие творятся – вся благодать оттуда идет: и материно молоко детопитательное, и любовь там живет, и вера. Верь – так, владыко. Там она, вся там; сердцем одним ее только и вызовешь, а не разумом. Разум ее не созидает, а разрушает: он родит сомнения, владыко, а вера покой дает, радость дает... Это, я тебе скажу, меня обильно утешает; ты вот глядишь, как дело идет, да сердисься, а я все радуюсь.

– Чему же ты радуешься?

– А тому, что все добро зело.

– Что такое: добро зело?

– Все, владыко: и что там указано, и что от нас сокрыто. Я думаю так, владыко, что мы все на один пир идем.

– Говори, сделай милость, ясней: ты водное крещение-то просто-напросто совсем отмечаешь, что ли?

– Ну вот: и отмечаю! Эх, владыко, владыко! Сколько я лет томился, все ждал человека, с которым бы о духовном свободно по духу побеседовать, и, узнав тебя, думал, что вот такого дождался; а и ты сейчас, как стряпчий, за слово емлешься! Что тебе надо? Слово всяко ложь, и я тож. Я ничего не отмечаю; а ты обсуди, какие мне приклады разные приходят – и от любви, а не от ненависти. Яви терпение, – вслушивайся.

– Хорошо, – отвечаю, – буду слушать, что ты хочешь проповедовать.

– Ну, вот мы с тобою крещены, – ну, это и хорошо; нам этим как билет дан на пир; мы и идем, и знаем, что мы званы, потому что у нас и билет есть.

– Ну!

– Ну а теперь видим, что рядом с нами туда же бредет человек без билета. Мы думаем: «Вот дурачок! Напрасно он идет: не пустят его! Придет, а его привратники вон выгонят». А придем и увидим: привратники-то его погонят, что билета нет, а хозяин увидит, да, может быть, и пустить велит, – скажет: «Ничего, что билета нет, – я его и так знаю: пожалуй, входи», – да и введет, да еще, гляди, лучше иного, который с билетом пришел, станет чествовать.

– Ты, – говорю, – это им так и внушаешь?

– Нет; что им это внушать? Это я только про себя так о всех рассуждаю, по Христовой добрости да мудрости.

– Да то-то; мудрость-то Его ты понимаешь ли?

– Где, владыко, понимать! ее не поймешь, а так... что сердце чувствует, говорю. Я, когда мне что нужно сделать, сейчас себя в уме спрашиваю: можно ли это сделать во славу Христову? Если можно, так делаю, а если нельзя – того не хочу делать.

– В этом, значит, твой главный катехизис?

– В этом, владыко, и главный, и не главный, – весь в этом; для простых сердец это, владыко, куда как сподручно! Просто ведь это: водкой во славу Христову упиваться нельзя, драться и красть во славу Христову нельзя, человека без помощи бросить нельзя... И дикари это скоро понимают и хвалят: «Хорош, говорят, ваш Христосик – праведный» – по-ихнему это так выходит.

– Что же... это, пожалуй, хоть и так, – хорошо.

– Ничего, владыко, изрядно; а вот что мне нехорошо кажется: как придут новокрещенцы в город и видят все, что тут крещенные делают, и спрашивают: можно ли то во славу Христову делать? что им отвечать, владыко? Христиане это тут живут или нехристи? Сказать: «нехристи» – стыдно, назвать христианами – греха страшно.

– Как же ты отвечаешь?

Кириак только рукой махнул и прошептал:

– Ничего не говорю, а... плачу только.

Я понял, что его религиозная мораль попала в столкновение со своего рода «политикою». Он Тертуллиана «О зрелищах» читал и вывел, что «во славу Христову» нельзя ни в театры ходить, ни танцевать, ни в карты играть, ни многого иного творить, без чего современные нам, наружные христиане уже обходиться не умеют. Он был своего рода новатор и, видя этот обветшавший мир, стыдился за него и чаял нового, полного духа и истины.

Как я ему это намекнул, он мне сейчас и поддакнул.

– Да, – говорит, – да, эти люди плоть, а что плоть-то показывать? Ее надо закрывать. Пусть хотя не хулятся через них Имя Христово в языцах.

– А зачем это к тебе, говорят, будто инородцы и до сих пор приходят?

– Верят мне и приходят.

– То-то; зачем?

– Поспорят когда или поссорятся, и идут: «Разбери, говорят, по-христосикову».

– Ты и разбираешь?

– Да, я обычай их знаю; а ум Христов приложу и скажу, как быть.

– Они и примут?

– Примут: они его справедливость любят. А другой раз больные приходят или бесноватые, – просят помолиться.

– Как же ты бесных лечишь? Отчитываешь, что ли?

– Нет, владыко; так, помолюсь, да успокою.

– Ведь на это их шаманы слынут искусниками.

– Так, владыко, – не ровен шаман; иные и впрямь немало тайных сил природных знают; ну да ведь и шаманы ничего... Они меня знают и иные сами ко мне людей шлют.

– Откуда же у тебя и с шаманами приязнь?

– А вот как: ламы буддийские на них гонение сделали; их, этих шаманов, тогда наши чиновники много в острог забрали, а в остроге дикому человеку скучно: с иными Бог весть что делается. Ну я, грешник, в острог ходил, калачиков для них по купцам выпрашивал и словцом утешал.

– Ну и что же?

– Благодарны, берут Христа ради и хвалят Его: хорош, говорят, добр. Да ты молчи, владыко, они сами не чувствуют, как края ризы Его касаются.

– Да ведь как, – говорю, – касаются-то? Все ведь без толку!

– И, владыко! Что ты все сразу так сунешься! Божие дело своей ходой, без суеты идет. Не шесть ли водоносов было на пиру в Канне, а ведь не все их, чай, сразу наполнили, а один за другим наливали; Христос, батюшка, сам уже на что велик Чудотворец, а и то слепому жиду прежде поплевал на глаза, а потом открыл их; а эти ведь еще слепее жиды. Что от них сразу-то много требовать? Пусть за краек Его ризочки держатся – доброту его чувствуют, а он их сам к себе уволочет.

– Ну вот, уже и «уволочет»!

– А что же?

– Да какие ты слова-то неуместные употребляешь.

– А чем, владыко, неуместное, – слово простое. Он, Благодетель наш, ведь и Сам не боярского рода, за простоту не судится. Род Его кто исповесть; а Он с пастухами ходил, с грешниками гулял и шелудивой овцой не брезговал, а где найдет ее, взвалит Себе, как она есть, на святые рамена и тащит к Отцу. Ну а Тот... что Ему делать? Не хочет многострадального Сына огорчать, – замарашку ради Его на двор овчий пустит.

– Ну, – говорю, – хорошо; в катехизаторы ты, брат Кириак, совсем не годишься, а в крестители ты, хоть и еретичествуешь немножко, однако пригоден, и как себе хочешь, а я тебя снаряжу крестить.

Но Кириак ужасно взволновался и расстроился.

– Помилуй, – говорит, – владыко: к чему тебе меня нудить? Да запретит тебе Христос это сделать! И ничего из этого не последует, ничего, ничего и ничего!

– Отчего же это так?

– Так; потому что сия дверь для нас затворена.

– Кто же ее затворил?

– А тот, который имеет ключ Давидов: «Отверзаяй и никто же отворит, затворяяй и никто же отверзет». Или ты Апокалипсис позабыл?

– Кириак, – говорю, – многия книги безумным ты творят.

– Нет, владыко, я не безумен, а ты меня если не послушаешь, то людей обидишь, и Духа Святого оскорбишь, и только одних церковных приказных обрадуешь, чтобы им в своих отчетах больше лгать да хвастать.

Я его перестал слушать, однако не оставлял мысли со временем его перекапризить и непременно его послать. Но что бы вы думали? Ведь не один простосердечный ветхозаветный Аммос, собирая ягоды, вдруг стал пророчествовать, – и мой Кириак мне напроорочил, и его слова «да запретит тебе Христос» начали действовать. В это самое время я, как нарочно, получил из Петербурга извещение, что, по тамошнему благоусмотрению, у нас в Сибири увеличивается число буддийских капищ и удваиваются штаты лам. Я хоть и в русской земле рожден и приучен был не дивиться никаким неожиданностям, но, признаюсь, этот порядок *contra jus et ras* 1 Против закона и справедливости (лат.). изумил меня, а что гораздо хуже, – он совсем с толку сбивал бедных новокрещенцев и, может быть, еще больше жалости достойных миссионеров. Весть с этим радостным событием, во вред христианству и в пользу буддизма, как вихрем разнеслась по всему краю. Для ее распространения скакали лошади, скакали олени, скакали собаки, и Сибирь оповестилась, что «все преодолевший и все отвергший» бог Фо в Петербурге «одолеет и отвергнет и Христосика». Торжествующие ламы уверяли, что уже все наше верховное правительство и сам наш далай-лама, то есть митрополит, приняли буддийскую веру. Перепугались миссионеры, известясь о сем; не знали, что им делать; иные из них, кажется, отчасти сомневались: уж и впрямь не повернуло ли в Петербурге дело на ламайскую сторону, как оно в то тонкое и каверзливое время поворачивало на католическую, а ныне, в сию многодумную

и дурашливую пору, поворачивает на спиритскую. Только нынче оно, разумеется, совершается спокойнее, потому что теперь кумир хотя и ледащенький выбран, но зато теперь и против этого рожна прать никому неохота; а тогда еще этой хладнокровной выдержки не доставало во многих и, в числе прочих, во мне грешном. Я не мог равнодушно смотреть на моих бедных крестителей, которые пешком плелись из степей ко мне под защиту. Им одним по всему краю не было ни лошадиной клячи, ни оленя, ни собаки, и они, Бог их знает как, лезли пешие по сугробам и пришли оборванные, обмаранные, истинно уже не как иереи Бога Вышнего, а как настоящие калики перехожие. Чиновники и зауряд все управление без зазрения совести покровительствовали ламам. Мне приходилось сражаться с губернатором, чтобы сей христианский боярин хотя малость остепенял своих пособников, дабы они по крайней мере не совсем открыто радели буддизму. Губернатор, как водится, обижался, и у нас с ним закипела жестокая стычка; я ему на его чиновников жалуюсь, – он мне на моих миссионеров пишет, что «никто-де им не мешает, а они-де сами ленивые и неискусные». А мои дезертировавшие миссионеры, в свою очередь, пишат, что им хотя, точно, рты тряпками не затыкают, но нигде ни лошадей, ни оленей не дают, потому что по степям всюду все люди лам боятся.

– Ламы, – говорят, – богаты, они чиновников деньгами дарят, а нам дарить нечем.

Что же мне было можно им в утешение сказать? Синоду, что ли, обещать представить, чтобы лавры и монастыри, имея «деньги многи», поделились с нашею бедностью и какую-нибудь сумму на взятки приказным отпустили, но боялся, что в больших залах в синоде это, чего доброго, за неуместное сочтут и, помолясь Богу, во вспомоществовании на взятки мне откажут, пожалуй. А к тому же еще и это средство в наших руках могло быть ненадежно: апостолы мои в самих себе такую слабость мне открыли, которая, в связи с обстоятельствами, получила очень важное значение.

– Нас, – говорят, – за дикарей жалость берет; из них с этой возней совсем последний толк выбьют; нынче мы их крестим, завтра ламы обращают и велят Христа порицать, а за штраф все что попало у них берут. Обнищает бедный народ и в скоте, и в своем скудном разуме, – все веры перепутал и на все колена хромает, а на нас плачется.

Кириак эту борьбу очень интересовался и, пользуясь моим расположением, не раз останавливал меня вопросами:

– Что тебе, владыко, вражки пишат?

Или:

– Что ты, владыко, вражкам написал?

Раз даже он явился ко мне с просьбою:

– Посоветуйся со мною, владыко, как будешь вражкам писать?

Это было по случаю тому, что губернатор мне ставил на вид, что в соседней епархии, при тех же обстоятельствах, в каких я находился, проповедь и крещение совершаются успешно, причем указывал мне на какого-то миссионера Петра из зырян, который целыми массами крестит инородцев.

Такое обстоятельство меня смутило, и я спросил соседнего архиерея: так ли это?

Тот отвечал, что действительно у него есть зырянин, поп Петр, который два раза ездил на проповедь и в первый раз «все кресты раскрестил», а во второй вдвое больше крестов взял, и опять не достало, – с одного на другого на шею перевешивал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.